

ПЛАЧУЩИЕ МАСКИ

Эссе

Вопрос с места — а занятых мест изрядно, в «Центре Помпиду» трехдневный русский нонстоп:

— Гектор Берлиоз был антисемитом. С каким чувством вы слушаете его музыку?

Примерно представляю себе, кем может быть задавшая этот вопрос. Еврейка с польскими корнями, личная жизнь позади, ходит по культурным мероприятиям. Своим еврейством она стреножена не менее моего. Просто мне уже не по чину публично задавать вопросы — разве что со мной об этом заранее условятся. Сорок лет, как я нашел другой способ себя показать.

Что значит быть стреноженным своим еврейством? Со мною вместе выступает писатель с ароматной русской фамилией, прославленной дважды: им самим — а за сотню с лишним лет до него мастером лесных пейзажей. Никому в голову не придет обратиться с подобным вопросом к нему, хотя, подозреваю, для этого есть основания. Его голос естественно сливается с голосом страны, в которой он, как и я, больше не живет. Ему не надо оспаривать право на русскую речь, чем

постоянно занимаюсь я, будучи собственным оппонентом. То-то и оно, что оппонируешь себе, а не кому-то оголтелому, кого в грош не ставишь. Нескончаемая схватка с самим собою идет от желания самим собою оставаться — с одной стороны, не ведая, что сие есть, с другой стороны, прекрасно понимая, кем бы ты являлся для Берлиоза.

Задача с одним неизвестным. В музыкальном упоении отрекаешься от себя в пользу Берлиоза за вычетом того, что не только не принадлежит тебе, но и в силу своей неопределенности может быть обозначено не иначе как x . Чему равен этот x — Бог весть. Что будешь иметь в остатке — Бог весть. Заплатив свой долг вычитанию, не будешь ли обречен — в русском языке, в христианской культуре — вести заемное существование, дышать ворованным воздухом, уговаривая себя, что он самый насыщенный?

В захватывающе интересной, по крайней мере в моем случае, книге Быкова «Пастернак» почва и судьба дышат еврейством с частотою паровоза, берущего Швейцарские Альпы. Читатель пастернаковской прозы, то восторженный, а то вдруг раздраженный, я к одному не могу привыкнуть: голос автора исполнен такой неподдельной фальши (именно неподдельной), как если б эта фальшь была для него чистейшим кислородом. Словно у прозы Пастернака при всей ее гениальности не было обратного адреса. Так и видишь барона Шарлю, Сен-Лу с их вводящей в заблуждение нарочитой маскулинностью.

До прочтения быковской книги я не знал истории Пастернака — лишь то, что почерпнул из его прозы. Плюс Нобелевская премия, слово «Переделкино», какая-то сплетня про Нейгауза, скрябининство. (Вопреки расхожему мнению, с музыкой у Пастернака обстояло довольно жалко — к счастью. Музыка испепеляет поэзию, как Зевс — Семелу). Но даже этого было достаточно, чтобы понять: фальшивый обратный адрес — не прием. И не средство. Он сама цель — и лишь потом уже, как это водится, немножко средство (орудийная отдача). Причиной — так мне казалось — экзистенциальная претензия видеть в себе, советском писателе, русского писателя. Экзистенциальная, ибо в глазах человека сталинской эпохи великий советский писатель — оксюморон, а масштаб Пастернака требовал от него внешней адекватности. Но чем настойчивей была эта претензия, тем «претенциозней» она выглядела, входя в противоречие с пастернаковским тоном — тоном «само собою разумеющейся правды», призывающей в свидетельницы свою сестру — природу. Подбирая ключ к «Доктору Живаго», я даже пытался отыскать его в мастерской московских концептуалистов — их влечение к сталинскому искусству тоже экзистенциально, обязательное ношение кавычек им в тягость, как ношение желтой звезды. Но им без кавычек — нельзя.

Чтобы в советское время быть русским писателем (непременное условие величия), надо стать из еврея русским человеком. Солженицын в своей курьезной книге «Двести лет вместе» всемиловиднейше даровал Пастернаку право считаться русским. Но еврею прекратить быть евреем так же трудно, как художнику

прекратить быть художником. И когда то и другое, соединенное в одном человеке, почему-то, пусть даже по недоразумению, видится взаимоисключающим, тогда-то и затевается бой с собственным еврейством. Кстати сказать, нееврею стать евреем гораздо легче, чем наоборот, равно как принять художнический сан проще, чем сложить его с себя — признать, что исписался.

Начало эмансипации евреев в Европе положил Моисей Мендельсон, провозгласивший: «Дома ты еврей, на улице ты человек». Сам Мендельсон, прототип Лессингова Натана, еще носил кипу, его внук Феликс Мендельсон-Бартольди в подтверждение того, что за эмансипацией неизбежно последует ассимиляция, уже крещен. Крещение, по крылатому выражению Гейне, — «входной билет в европейскую культуру». Входные билеты стоят дешево, потому публика валила валом. Каждый подавал каждому пример, что психологически упрощало и без того необременительную водную процедуру, а не чем иным, как «крещением в Рейне» это быть не могло.

В Австро-Венгрии, отягощенной славянскими землями, евреи не поспевали за своими просвещенными соплеменниками в Германии. К тому же местечковые евреи славятся своей водобоязнью. «Снова пейзаж, снова в баню», — один хасид другому. Но тот же Фрейд, который приводит этот анекдот («Остроумие и его отношение к бессознательному»), тот же Малер и многие-многие еще, родившиеся в патриархальной еврейской глуши, окончили свои дни в столицах Европы.

— Если не в Освенциме, — так и тянет кто-то за язык, но нет, я этого не говорил, об этом еще никто ничего не знает, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Холокост путает карты всем: и еврею, который «ведет себя на улице как человек»; и умиленному этим зрелищем аболиционисту (воспользуемся термином времен войны Севера и Юга); и традиционному европейскому антисемиту, вынужденному теперь порвать со старой доброй традицией; и Пастернаку, который настолько не принимал в расчет, кто он, что чуть ли не дожидался немцев — Быков прямо об этом не говорит, но подводит читателя к этой мысли; и даже, что самое невероятное, коменданту Освенцима Хессу, перед повешением оплакивавшему не себя, но дискредитированную нацистами (так!) идею спасения мира от евреев. Только сионизм мог торжествовать победу — пиррову в кубе. До шестидесятых, до процесса Эйхмана, восприятие Холокоста в Израиле было болезненно двойственным: так им, баранам, и надо. И стояло за этим: так нам, баранам, и надо. Еще в семидесятых я слышал: «Ненавижу идиш. На идиш говорили бараны, которых вели на убой».

Нет, оставим Холокост за кадром. Еврейский вопрос и без того щекотлив настолько, что само намерение решить его отныне квалифицируется как преступное намерение. Антисемитизм перелицован на «левую сторону»: он прерогатива левых. Еврейского вопроса нет и не было. Доказано, что в строго научном смысле слова еврейской расы не существует. И считать по-другому — преступное заблуждение. Согласно последним наиполиткорректнейшим изысканиям,

понятие расы в принципе антинаучно. Человеческие общности складываются по языковому, территориальному, культурно-историческому признаку. Их нельзя смешивать с конфессиями: одни веруют в Магомета, другие в Христа, третьи в Моисея, четвертые в Будду. Соответственно, никаких евреев нет — есть французы Моисеева закона, есть немцы Моисеева закона. Я, например, русский Моисеева закона. Что до Израиля, то там восемьдесят процентов населения нерелигиозны, а родных языков — по числу стран исхода.

Некий профессор антропологии в Тюбингене спросил у заезжего лектора, специалиста по русскому еврейству: как в Российской империи отличали эмансипированного еврея от нееврея? Вместо того чтобы ответить: «Так же, как и в Германии», гастролер растерялся. За него ответил студент-переводчик, бывший, что называется, «в теме»: «Бьют не по паспорту, а по морде». Вскоре одна университетская дама попеняла мне за то, что я воспитал сына-расиста.

Другой ученый муж, из рода коэнов, на мою реплику: «Эмиль, да вы антисемит!» — отшутился: «Антисемитизм — чувство общечеловеческое, а я такой же человек, как и все». В этой шутке «доля шутки» была минимальной: профессор презирал свою жмеринскую родню, окопавшуюся в Израиле, — тех, кого Пастернак называл «жидоба». Это не помешало ему отказать Льву Лосеву, искавшему, кто бы засвидетельствовал в академическом мире, что он, Лев Лосев, не антисемит, в чем его громогласно обвинили (неофит политкорректности с радиостанции «Свобода» возмутился

одной его стихотворной строкой, не помню уже какой). «Да, это антисемитизм», — сказал мне потомок коэнов. После этого мы раззнакомились.

В связи с «Годом России во Франции» тема антисемитизма у Пастернака поднималась в Сорбонне на ежегодном еврейском фестивале, а недавно «Новель обсерватер» писала о «цветаевском антисемитизме», который сродни селиновскому. Новообращенные юдофилы и примкнувшие к ним из числа тех, кто только и ждет, к кому бы примкнуть, ужасно напоминают мне негритянскую общественность, на первых порах возмущавшуюся оперой «Порги и Бесс»: нас опорочили. Потом сообразили... Увы, эстетическая несостоятельность компенсируется «активной общественной позицией». Посредственности зарабатывают себе «на имя» тем, что становятся знаменосцами очередного идеологического поветрия.

Для Льва Лосева, университетского человека по ту сторону океана, попасть в черный список по антисемитской линии было даже посерьезней, чем можно себе вообразить, живя в Европе. Американцы — идеалисты, а идеалист в гневе страшен. И то, что «Лев Лосев» снабжено изобличающими скобками «Лев Лифшиц», их вряд ли бы остановило. Во-первых, евреев не существует, Мандельштам — русский поэт лютеранского вероисповедания, а Лосев — русский поэт неустановленного вероисповедания. А во-вторых, антисемитизм — чувство общечеловеческое, и отказывать еврею в праве на него есть скрытая форма антисемитизма. В Сорбонне преподавателю со студентом возбраняется

находиться в закрытом помещении с глазу на глаз — причем пол обоих не оговаривается, в противном случае это означало бы ущемление прав секс-меньшинств.

Крещение ничего не может изменить в национальной самоидентификации еврея. Напрасно некто Готлиб — литературный персонаж, харьковский графоман — бьет себя в грудь: «Сначала крестись, а потом уже становись русским писателем». Вор прощённый все равно останется вором: у всех выкрестов — министров, известных артистов и т. п., — когда они осеняют себя крестным знаменем, такой вид, как будто они подписали явку с повинной.

А я невиновен, люди, слышите? Типично еврейская манера: каждого хватать за пуговицу и читать ему монолог Шейлока: мы такие же люди, как и все, если еврея уколоть, у него тоже пойдет кровь, и т.д. и т.п.

Полагаю, что крещение имеет мало общего с ассимиляцией. Когда-то, крестившись, все равно женились «на своих», пусть таких же крещеных. Это была форма маранства. (Никто не знает происхождение слова «маран», и потому неизвестно, удваивается ли в нем «р». Если оно происходит от испанского «marrano», «свинья», то удваивается, если же от новозаветного «maran atha», «Господь наш пришел», то нет. Здесь правописание — момент истины для говорящего.) Институт смешанного брака возник позднее, в секуляризованном обществе, где свидетельства о крещении не требовалось — вместо этого в одной отдельно взятой стране в продолжение одного отдельно взятого

десятилетия требовалось свидетельство о чистоте крови.

К 1933 году ассимиляция евреев в Германии была близка, как никогда, — ост-юден из крошившейся по краям бывшей Российской империи не в счет, своими лапсердаками, своим жаргоном они только позорили немецкое еврейство. А так каждый четвертый брак — смешанный. Кто-то потом заметит: немцам не хватило терпения. Но есть и другая точка зрения. Шульгин пишет: «Какой опасностью может грозить еврейская раса русской расе? Очень простой. Опасностью поглощения. Еврейская кровь, по-видимому, сильнее. Можно с уверенностью сказать, что из десяти русско-еврейских детей девять унаследуют черты родителя-еврея. При таких условиях представим себе на минуту, что все русские, сколько их есть, поженились бы на еврейках и все евреи женились бы на русских. Что это обозначало бы? Это означало бы, что русская раса исчезла бы с лица земли; ибо народившиеся от этих смешанных браков дети уже не возродили бы русские черты, а воплотили бы только еврейские». Нацисты были того же мнения: капля еврейской крови испортит бочку арийского меда. Было полно наглядных пособий, диаграмм, экспертных заключений, предрекавших нашему Зигфриду полный и окончательный рахит через поколение, если так пойдет дальше.

Близость полной ассимиляции поверяется не вероисповеданием, а браком. В моей юности были еще еврейские компании. Они возникали на основе социальной

близости, ментального взаимопонимания в обстановке привычной дискриминации, даже на основе физиогномического сродства. Они могли быть продолжением домашних связей или дачных знакомств или смутным воспоминанием об отрядах самообороны. Они не носили ярко выраженного националистического характера, встречались в них и неевреи, все равно это были еврейские компании. Внутри этих компаний, общавшихся между собой подобием кровеносной системы, влюблялись, женились, притом что с жаром писали русские стихи.

Назвать мое поколение неэмансипированным трудно. Тем не менее зачет по эмансипации я бы не сдал: я женился на еврейке отнюдь не по случайности. Тогдашняя ситуация, и моя, и подобных мне, скорее напоминала австро-венгерский *fin de siècle* в его еврейской версии, ставшей на Западе объектом культурной ностальгии: переключка имен собрала бы весь цвет австрийского экспрессионизма. У Кафки его «любви» тоже были еврейками. Как и у Пастернака, пока он не осознал, что в России произошла революция, — такой вывод я сделал, читая Быкова.

Только с гибелью России, чем по понятиям того времени была революция, происходит превращение Пастернака в «русского человека». До этого он — эмансипированный пишущий футуристические стихи еврей, коих, бесов, легион. Как архетип на память приходит некрофильствующий Ахилл, вождедеющий к мертвой Пентезилее с пробитым надругательски глазом.

Шанс превратиться в русского, я знаю это по себе, предоставляет еврею эмиграция. Эмигрируй Пастернак из большевеющей ударными темпами Москвы во Францию, он стал бы «белым русским» в глазах парижской улицы. Он отказался от эмиграции, но не как отказался бы от нее глашатай будущего, футурист — а по поговорке: с милым рай и в шалаше. Чтобы обрести право на этот «рай» и на этот «шалаш», нужно перейти рубикон, за которым — полная ассимиляция. Оказывается, есть магнит попривлекательней московских барышень с еврейскими очами.

Как реликт старой России, он должен был бы родиться православным. При старом режиме креститься юному футуристу было ни к чему и, главное, не к лицу. Если б можно было это сделать задним числом, оказаться уже крещеным. Крещение якобы нянькой, тайком, со словами «поганым я его растить не буду» — бродячий сюжет семейного фольклора. («Нехристь? — спрашивает Петр. Но ненабожный, сам же усмехается: — Ничего, жизнь окрестит самотеком».) Сталин, ценитель Руси уходящей и палач «честных советских коммунистов», легитимировал старорежимность Пастернака тем, что не тронул его. Травля, начатая Хрякомордым в связи с Нобелевской премией, несмотря на все свои советские аксессуары, выглядела пережитком «большевицкого» разгула в барской усадьбе.

А все-таки трудно уйти от своего еврейства, даже если общество «согласье на это дает торжество». По-смертно еще труднее, чем при жизни. Завтра «согласье» забудется, и то же самое будет истолковываться

диаметрально противоположным образом. В середине шестидесятых, студентом консерватории, я побывал на кладбище в Переделкине в компании двух однокурсниц — австралийской скрипачки Алисы Уоттен, дочери прогрессивного писателя Джуды Уоттена, и английской виолончелистки Лизы Вильсон, дочери тогдашнего посла, предпочитавшей жить в общезжитии. Это входило в джентльменский набор дозволенного фрондерства, инициатива которого принадлежала им. По стихам у меня была двойка, а «Доктор Живаго», одолженный на ночь, неприятно удивил своей «просоветскостью» да еще напоминал театральную постановку — я же люблю кино.

Евреем Пастернак для меня был в последнюю очередь: забирайте своего Пастернака, он мне даром не нужен. Евреем был Малер, евреем был Кафка, Шостакович музыкально отождествил сталинский террор с черносотенным погромом — это было важно, это «отвечало национальным чаяниям». Но юные иностранки все видели в ином свете. «Еврей» означало «иудей». Нацарапанный, вероятно, гвоздем или ножиком крест на могильной плите, там и сям видневшиеся на земле крошки от печенья, следы ритуального вкушения, — все это их возмущает: при жизни преследовали, а теперь оскверняют могилу.

Соблазнительно сбежать от Господина, который клеймил тебя как частицу народа Своего. Коллективное рабство, как и коллективная свобода, не ведают личности, которая простиралась бы сколько хватает глаз. Жить хочется от первого лица — умирать тоже

предстоит от первого лица. А тут: *olah leolamo* — приложился к народу своему.

Богоизбранность — головная боль каждого еврея (ну ясно, что не каждого — как минимум надо, чтоб было чему болеть). «Не мог бы Ты избрать кого-нибудь другого», — говорит в известном мюзикле Тевье. Мне недосуг перечитывать Шолом-Алейхема, чтобы проверить, говорит ли он это в книге, но эту усталость, специфически еврейскую, отмеченную, кстати, Пастернаком в «Докторе Живаго», должен был испытывать Тевье-молочник — «Тевье дер мельхикер». Вовсе не гордость, не высокомерие, как многие полагают. То есть все вместе, хором — да, высокомерны. Но каждый по отдельности вконец измотан борьбой с самим собой, рабством у неведомо Кого — у себя самого. (Двоюродный брат в Израиле: «А мне это вот где! Пусть хоть за негра выходит. Жиды! Осточертело!»)

Добро б еще все ограничивалось извечным: «*Mi hu uehudi?*», «Кого считать евреем?» — галахическим определением еврейства по материнской линии, в которое упирается ровно половина всех смешанных браков. Всегда можно вспомнить Шульгина: «Все равно народятся евреи». Но императив богоизбранности несовместим с другим императивом, универсальным: человеческая жизнь равна человеческой жизни. Получается, что Моисей вывел евреев не только из Египта, но и за скобки: мы избавлены от требований, предъявляемых ко всем прочим. Например, почему ассимиляция является злом, только когда это касается нас, евреев? «Чем вам не нравятся китайцы? Работящие,

непьющие. Ну так чуть-чуть превратитесь в китайцев». А попробуй скажи: «Чем вам не нравятся арабы? Работящие, непьющие. Ну так чуть-чуть превратитесь в арабов». И при этом я далеко не уверен — и это еще мягко говоря, — что генетически наследую тем четыремстам тысячам, кому Моисей с горы Синай явил скрижали с десятью заповедями. Чистота моей крови более чем сомнительна за сроком давности, если вообще, «не будучи типом расовым, еврейский тип не вырабатывается всякой нацией самостоятельно — как печенью вырабатывается желчь». (Между прочим, все цитаты из самого себя.)

Так почему не махнуть рукой на все эти глупости и не сказать себе: «Я русский, какой я еврей?» Но я твердо знаю: есть вещи, которыми я не вправе распоряжаться, даже если они мои. Запрещает же человеку закон располагать своей жизнью. Извлекут из петли и не посчитаются с твоей волей.

— Гектор Берлиоз был антисемитом. С каким чувством вы слушаете его музыку?

Смешной вопрос. Все были антисемиты, не быть антисемитом было недопустимо, даже хуже, чем сегодня им быть. Это как сегодня вступаться за педофилов — вступаться за тех, кто распял Христа и нимало в этом не раскаивается. Сбились в кучу, неизвестно чем промышляют в своих гетто.

В этой пьесе еврею отведена роль злодея. Ничего не поделаешь, это твое историческое амплуа. Христианская

культура по природе своей антисемитская. Но спектакль-то хорош! Хочешь в нем участвовать, помни свою роль. Но помни и другое: это всего лишь маска, и это всего лишь спектакль, и когда упадет занавес, режиссер обратится к труппе с сакраментальными словами: «Всем спасибо». (Освенцим, 27 января 1945 года. Комендант: «Всем спасибо».)

Я не боюсь антисемитов, я боюсь конформистов. Говорят: вот член нацистской партии с 1925 года. Что вступали последними, те хуже всех. Это как члены КПСС с 1975 года. Предпочитаю честного Шульгина иному потомку коэнов, который, чтобы попасть в хорошее общество, на все согласен. Лазарь Каганович тоже из коэнов.

Берлиоз был антисемитом... Наверное, был. Тогда запишем в антисемиты и называвшую евреев жидами Марину Цветаеву:

Гетто избранничеств! Вал и ров.
Пощады не жди!
В сём христианнейшем из миров
Поэты — жидаы!

Примерно в таком духе я ответил. После этого один из организаторов конференции сказал мне, что я провокатор.